

## Октябрь 1861

Шалонское свидание.—Коронавание короля прусского.—Поездка Раттацци в Париж.—Военное положение в Венгрии.—Северо-американские войска.

Вот опять прошел целый месяц и ни одной из западных европейских стран не принес никакого облегчения в натянутом положении дел. Везде все остается попрежнему: в Италии не сделано знаменитым преемником знаменитого Кавура ни одного действительного шага к развязке римского или венецианского вопросов; в Австрии не сделано либеральным Шмерлингом ничего [благоразумного относительно] венгров или венгерских славян; во Франции бесконечно тянется прежняя история. А впрочем, нельзя же без новостей, — новости есть и очень занимательные для дипломатизирующих публицистов.

Очень заинтересованы были они свиданием прусского короля с императором французов. Было множество догадок о чрезвычайно важных целях свидания, и догадки оправдались: свидание было устроено императором французов по делу необыкновенно серьезному. Он хотел склонить короля прусского к признанию Итальянского королевства. Разумеется, нельзя же с одного раза достигнуть такого громадного результата, и пока еще не признано Пруссией Итальянское королевство; но доводы и просьбы императора французов, конечно, не остались без последствия: король прусский в неопределенных выражениях сказал, что подумает об этом деле. Дипломатизирующие публицисты в двойном восторге: догадки их о целях свидания подтвердились, а Итальянскому королевству является надежда приобрести великий залог прочности через появление прусского посланника в Турине, а итальянского — в Берлине. Важность этой приближающейся перемены в официальных отношениях Пруссии к Италии совершенно ясна для публицистов, понимающих политические тонкости. Но люди, не способные к воздушным соображениям, спрашивают объяснения: чем же интересно для Италии признание ее единства Пруссией, которая не могла бы повредить этому

единству, хотя бы [до конца веков] не признавала его? Дойти в Италию прусские войска не могут; блокировать итальянских гаваней прусский флот не может, уже и по тому одному, что не существует. Какой же убыток итальянскому единству от непризнания его Пруссией? В таком воззрении мы замечаем обыкновенную односторонность грубого материализма. Будто бы надобно думать все только о действительном вреде и действительной пользе? Разве ни во что нельзя ставить идеальную приятность какой-нибудь будущей речи Рикасоли, который с наслаждением объявит туринскому парламенту: «Правда, что мы не достигли никаких успехов материальных, не сделали ничего для освобождения Рима и Венеции; но мы одержали нравственную победу, победу более значительную: восстанавливаются наши дипломатические сношения с берлинским двором благодаря великодушному посредничеству императора французов, который представил тем новое доказательство своей дружбы к нам». За этими словами последуют аплодисменты на скамьях министерской партии. Разве это не важно? Свобода и единство Италии основываются на доверии парламентского большинства к министрам, каковы бы там ни были они. Значит, очень полезна всякая речь Рикасоли, возбуждающая аплодисменты на скамьях большинства; значит, полезен и всякий повод произнести такую речь.

Но еще больше, чем свидание прусского короля с императором французов, занимало собою дипломатизирующие газеты торжество, совершенное королем прусским в Кенигсберге. Оно было для газет не только важнейшим событием прошлого месяца, но и событием безусловно великим. Очень давно, чуть ли не больше ста лет, короли прусские не считали нужным совершать старинной церемонии коронования в своем первопрестольном граде, Кенигсберге. Не совершал этой церемонии даже предшественник нынешнего короля, любивший [средневековые воспоминания и] пышные обряды. «Решимость нынешнего короля [менее любящего романтизм] восстановить старинный обряд, конечно, составила не без глубоких государственных расчетов», — говорила дипломатизирующая часть публики: — «он, конечно, хотел показать этим, что считает свои царственные права истекающими из старинных принципов, а не из нового для Пруссии конституционного устройства». Публика не ошибалась; но напрасны были ее толки об этом обстоятельстве: мысль, которую представляло оно собой, должна была быть и без того хорошо известна прусской публике. Ни нынешний король, ни его предшественник, при котором была введена в Пруссии конституционная форма, никогда не скрывали от Пруссии своего убеждения, что власть их имеет основание более глубокое и размер более высокий, чем конституционное соглашение. Кроме нескольких бурных месяцев 1848 года, прусские короли и министры постоянно объявляли

государству, что конституционная форма имеет в Пруссии только второстепенное значение, вполне подчиненное независимой от нее власти монарха. Потому на кенигсбергскую коронацию нынешнего короля надлежит смотреть собственно только как на торжество или празднество, а не как на политическое событие, изменяющее что-нибудь или служащее признаком желанья изменить что-нибудь в правительственных воззрениях. Тут были великолепные процессии, блистательные пиршества, так что праздник надобно назвать устроенным очень хорошо. Точно так же мы не видим ничего [реакционного, ничего] прозящего переменною правительственных прусских принципов в торжественной речи, произнесенной королем прусским на этом празднике. Король очень определительно и настойчиво выставлял на вид в своей речи, что он «король божию милостью», а не король, получивший свои права от конституции. Прусские, французские, английские и всякие другие газеты чрезвычайно много толковали об этом характере речи. Либеральные газеты печалились, реакционные — торжествовали. Но что же особенного представляла мысль, столь сильно занявшая их? Мы уже говорили, что нынешний король и его предшественник постоянно высказывали убеждение, выраженное в нынешней кенигсбергской речи короля. Надобно хвалить ее прямоту; надобно видеть в этой прямоте новое свидетельство честности прусского короля. Но он всегда был известен как человек совершенно прямой и честный. А если так, то каждый мог вперед знать дух речи, какую он произнесет в Кенигсберге. Надобно также сказать, что король высказывал в ней чистейшую правду. Конституционная форма до сих пор остается в Пруссии формальностью, не имеющею влияния на принципы действительного управления и законодательства. Власть короля прусского сохраняет в сущности тот же самый размер, какой имела двадцать лет тому назад, до введения конституционной формы. Самое происхождение нынешней прусской конституции таково, что король справедливо называет себя ее владыкою. Она составлена, по распоряжению его предшественника, министрами, которых назначил он сам, которые были ответственны только перед ним; не разноречит с происхождением нынешней прусской конституции и вся история действительного ее существования, и надобно сказать, что эта гармония сохранялась расположением самого прусского населения смотреть на свою конституцию совершенно одинаково с взглядом короля на нее. Уже не раз и не два с 1849 года производились, по повелению короля, выборы новых депутатов. Огромное большинство избирателей каждый раз неуклонно держалось того убеждения, что характер палаты депутатов должен соответствовать желаньям короля<sup>1</sup>. Избиратели ревностно разузнавали о этих желаньях, о том, каких депутатов считает нужным король иметь на этот раз, и назначали депутатами людей, рекомендуемых в это

звание правительством. Если бы тут было какое-нибудь принуждение, если бы рекомендация вызывала беспорядки или опасение беспорядков, для подавления или предотвращения которых нужно бы было прусскому правительству принимать какие-нибудь особенные меры, то еще можно было бы сомневаться в соответствии искреннего желания избирателей с формальным результатом выборов. Но с самого 1849 года ничего подобного не бывало в Пруссии; выборы производились свободно. Конечно, правительство поддерживало рекомендуемых им кандидатов нравственным своим влиянием; но самым крайним аргументом было у него то, что король будет доволен выбором правительственного кандидата и недоволен выбором оппозиционного депутата. Следовательно, свобода избирателей ни мало не стеснялась, а только объяснялось им, как они должны поступить. Это желание выразить свое доверие и уважение к воле короля. Этого мотива всегда было достаточно для склонения избирателей на желаемую сторону. А мы собственно о том и говорим, что король прусский был совершенно верен живой истине, когда повторил в нынешней кенигсбергской речи, что его воля — верховный закон прусского королевства. Он только выразил этими словами несомненный факт действительности, факт, основанный на глубокой преданности его подданных к нему, на том их чувстве, что они далеки от мысли в чем бы то ни было противиться желанию своего короля. Этот факт и до кенигсбергской речи был известен каждому. Король не только прав, говоря и действуя в духе, выраженном этой речью, — ему не представлялось и до сих пор не представляется физической возможности действовать иначе. Его подданные не обнаруживают никакой готовности к самостоятельному участию в делах, а надобно же управлять делами. Было бы нарушением обязанности перед государством покидать какую бы то ни было часть прежних прав, когда нет в обществе желания принять эти права.

Пруссия издавна, — с самого 1849 года, — наслаждавшаяся таким спокойствием внутренней жизни, что нечего было и говорить о ней, занимала в прошлом месяце самое обширное место в газетах, но занимала его описаниями путешествия или торжества короля, вещами ни мало не нарушавшими привычной скромной тишины ее преданного населения. Нам отрадно сказать, что порядок не нарушался и в тех странах, которые подают мирной публике больше опасений, чем верная Пруссия. Например, все идет очень смирно во Франции, за которую вздумали было тревожиться умы слишком робкие и легковверные по поводу столкновений, недавно происходивших на некоторых парижских улицах. [Нам приятно думать, что читатель совершенно успокоится, если с надлежащим вниманием прочтет следующие наши замечания.

Известно, что есть явления очень сходные по наружности, но совершенно различные своим значением. Например, красный

флаг в Испании выставляется не с мыслью произвести революцию, а только как принадлежность развлечения, называемого боем быков, и видом этого флага раздражаются только неразумные быки, а городское начальство остается спокойно и даже само с удовольствием смотрит на занимательное и совершенно невинное представление. А во Франции появление красного флага служило бы признаком вражды к правительству. Чрезвычайно вредны для существующего порядка те пустые люди, которые, ничего не умея разобратить, поднимают шум из-за пустяков и прибегают к сильным мерам против слабых проявлений какого-нибудь частного чувства, не имеющего в своем начале никакой политической тенденции. Они привлекают внимание общества к делу, которое иначе прошло бы незамеченным, развивают ненужными строгостями твердость характеров, которые иначе оставались бы, как были, довольно вялыми, заставляют людей, бывших прежде чуждыми политическим мыслям, считать себя политическими деятелями и раздражают их против общих отношений, о которых прежде они не думали. Замечательным примером тому служат действия туринского правительства в Неаполе. Мы уже говорили о них несколько раз, но коснемся здесь опять того же предмета, чтобы противопоставлением его образу действий французского правительства яснее обозначилось политическое искусство императора французов, наша похвала которому с этой стороны будет тем достовернее, что мы вовсе не принадлежим к его поклонникам.

Вообразите себе Неаполь. Это — великолепный город, имеющий чуть ли не до полумиллиона жителей, но еще гораздо больше, чем своим великолепием и многолюдством, замечательный изумительным, беспримерным характером своего населения. Массу этого населения составляют дикари, которых нигде, кроме Неаполя, не отыщется в Западной Европе. Они едва ли знают имя короля, которому повинуются; но с незапамятных времен думают они по преданию, что король — их отец. Король был убежден, что они неизменно преданы ему. Они при всяком случае окружали его бесчисленными толпами, с каким-то нечеловеческим криком восторга. На них основывал король прочность своей власти. Но мы знаем, что в прошедшем году с таким же восторгом приняли они Гарибальди, а потом другого короля. Однако же не в этом дело. Дело в том, что город, где масса населения остается и безграмотна и невежественна, не может иметь и в образованных классах никакой прочной политической тенденции. Действительно, образованные классы странного города Неаполя занимались двумя предметами: службою и обиранием казны. Масса чиновников была в нем бесчисленна; и едва открывалась вакансия или хоть надежда на вакансию, хотя бы по самой мелкой должности, тотчас являлись десятки просителей. Неаполитанец порядочного общества не понимал возможности жить, не

получая жалованья. Казнокрадство было распространено так же сильно, как страсть к получению жалованья. Читатель помнит знаменитую историю о неаполитанских госпиталях в то время, как наполнены были они ранеными гарибальдийскими солдатами. Неаполитанцы были проникнуты удивлением к мужеству и сочувствием к страданиям этих храбрых людей. Но патриотические чувства нимало не мешали воровать каждому, кто только мог приютиться на госпитальную службу. У раненых крали пищу, одежду, даже корпию, даже лекарство. Они лежали голодные, полунагие. Кажется, такой город мало способен к политическому ропоту. Что же мы видим? Сан-Мартино, Нигра и другие уполномоченные туринского правительства успели довести Неаполь до политического оживления. Во всех неаполитанских домах толкуют о правительственных мерах, и политическое воспитание неаполитанцев чуть ли уже не сделано наполовину. Этот удивительный результат произведен не чем иным, как усердием туринского правительства и его агентов обращать каждую муху в слона, видеть нарушение порядка там, где порядок вовсе не был нарушен, отыскивать несуществующие заговоры и так далее. Неаполитанцы страшно трусливы и всему на свете предпочитают спокойствие. Но полиция шумит, пугает их, водит по улицам войска для подавления мнимых смут, арестует людей без всякой причины, — и беспокойство овладевает неаполитанцами. «Да что же это такое делается у нас в городе? — спрашивают они друг друга: — да из-за чего же подвергают нас таким тревогам?»

Совершенно противоположный способ действия мы видим в Париже. Там понимают, что если произошло по какой-нибудь частной причине легкое движение, не имеющее политического характера, то невыгодно правительству делать гвалт на целый город, а следует приветливо расспросить у людей, чего они желают, и исполнить их безвредную для правительства просьбу, и движение исчезает само собою, а люди, встреченные внимательною готовностью удовлетворить их нужды, расходятся с похвалами правительству, против которого и не думали восставать. Замечательным примером тому послужил образ действий парижского правительства во время этих [уличных] столплений, происходивших по поводу дороговизны хлеба. Читатель знает, что хлеб в Париже продается по таксе. Нынешняя жатва во Франции была неурожайна. Таксу хлеба в Париже повысили. Бедняки, не имевшие чем платить за хлеб, стали собираться толпами и толковать, что таксу надобно понизить. [Случись это в Неаполе — какой разгул для передряг всему городу нашла бы тут себе полиция! Правители, перетрусив, кричали бы друг другу: «бунт! бунт! поспешим наказывать мятежников».] Разумеется, перехватать и наказать «мятежников» было бы нетрудно, потому что «мятежники» были самые смиренные люди, у которых

не было и мысли ни о сопротивлении, ни о чем подобном. Но таким усмирением несуществующего волнения было бы произведено действительное волнение в умах, и не легко было бы оправиться правительству от нравственного удара, который нанесло бы оно себе неуместными распоряжениями. Наполеон III и его министры поступили не так. Они прежде всего посмотрели, как держат себя собравшиеся толпы, и разобрали, зачем они собрались. Они держали себя очень смиренно, собрались они не с какими-нибудь политическими требованиями или мыслями, а по частному случаю, не имеющему никаких отношений к политической системе. Вот французское правительство и рассудило так, [что мятежа тут никакого еще нет и] что оно [правительство] ничего не потеряет, если согласится на просьбу; что этим оно предотвратит волнение умов и возникновение ропота. Этот результат показался французскому правительству так драгоценен, что оно не пожалело даже денежных пожертвований для него. Оно распорядилось понизить таксу на хлеб, удостоверило толпу, что такса не будет вновь поднята, и приняло на себя выплачивать булочникам или хлебникам разницу между действительной ценой хлеба и пониженной таксой.

Мы не принадлежим к панегиристам Наполеона III. Но должно сказать, что образ его действий в этом случае самый выгодный для него и что если есть у него во Франции враги, то, конечно, доставил бы он им величайшее удовольствие, когда бы поступал не так, а по примеру туринских правителей в Неаполе.

Случай, нами рассказанный, сам по себе неважен, и мы упоминали о нем только потому, что в нем заключается полный ответ на вопрос: каким образом император французов успел приобрести в целой Европе репутацию искусного правителя<sup>2</sup>.

Переходя вновь к неаполитанским делам, о которых упоминали мимоходом, мы должны заметить, что тревожная [и поразительная] политика туринского министерства произвела результат, какого следовало ожидать от нее. Партия действия усиливается в Неаполе с каждым днем. Но не скроем от читателя, что при всем нашем сочувствии к довершению и упрочению итальянского единства не возлагаем мы больших надежд на неаполитанское племя, приученное к трусливости. Народ, который, восхищаясь волонтерами Гарибальди и целуя ноги его, выставил на помощь ему не больше пяти тысяч волонтеров, действительно способных сражаться, — да, не более пяти тысяч человек из десяти миллионов населения страны, — такой народ не скоро будет в состоянии добиться чего-нибудь собственной инициативой. Другое дело — Центральная и Северная Италия, патриоты которой не ограничиваются криками и восторгами, а готовы сражаться за свои стремления. В этих частях Италии находится настоящая сила партии действия, хотя гораздо больше шума производит она в неаполитанских областях.

Читатель знает, что предводители партии действия в Италии давно заключили нечто вроде союза с венгерскими эмигрантами, управляющими радикальной партией венгров. Недавно напечатал Кошут письмо, которое надобно считать результатом совещаний между теми и другими и программю действий для итальянцев и венгров. Он говорит, что вопрос о Риме итальянцы должны отложить до развязки своих отношений с Австриею, — когда Австрия будет побеждена (или по выражению Кошута — распадется) и когда Франция потеряет возможность пугать ею Италию, то французы сами уйдут из Рима, потому что раздражение итальянцев станет тогда грозно для них. А до той поры, по мнению Кошута, напрасны будут все дипломатические хлопоты, которыми туринское правительство думает склонить императора французов к выводу его войск из Рима.

Не знаем, удастся ли партии действия исполнить задуманное ею к весне дело: составить армию из 30, или больше, тысяч волонтеров под команду Гарибальди, вторгнуться в Венецианскую область и тем подать Венгрии возможность к поднятию давно готовящегося в ней восстания. Но нельзя спорить против той части изложенного нами письма, которая доказывает напрасность ожиданий, что французы могут быть склонены дипломатическими переговорами к очищению Рима. Рикасоли обещал туринскому парламенту, что достигнет этого результата в течение полугода, к концу нынешней осени. Конец осени пришел, а надежда Рикасоли не исполнилась. Видно, что он также утопист, несмотря на то, что еще умереннее и положительнее Кавура. Приближается время новой сессии итальянского парламента, а явиться в нем с объявлением, что в течение лета совершенно ничего не сделано для довершения итальянского единства, было бы затруднительно для Рикасоли. Самые верные члены консервативного большинства высказывают в частных разговорах недовольство такою безуспешною системою. Рикасоли решился сделать последнюю попытку, самую сильную, какую допускает консервативная политика его: обратился с просьбою к предводителю так называемой средней партии, Раттацци, чтобы он съездил в Париж и объяснил императору французов затруднительное положение консервативного министерства, которое держит только надеждою на снисходительность французского правительства к желаниям итальянцев. Обратиться с такою просьбою к Раттацци, политическому противнику, конечно, было тяжело для надменного Рикасоли. Тяжело было и для Раттацци являться с просьбою к императору французов, который не смотрел на него так благосклонно, как на людей более умеренных: Раттацци восставал иногда против излишней уступчивости Кавура французскому правительству. Вероятно, потому и выбран был для личного объяснения с императором французов он, а не какой-нибудь член министерской партии, что он мог говорить настойчивее. В чем собственно состояли

разговоры его с императором французов, это остается, по обыкновению, дипломатической тайной, которая, по обыкновению, не составляет ни для кого тайны. Раттацци излагал перед императором французов опасения, что если Франция не сделает ничего для Италии, то возьмут верх в Италии революционеры. Что же может сделать Франция для удержания власти в Италии за людьми консервативными? Легче всего для нее и лучше всего для них было бы вывести французский гарнизон из Рима. Он получил ответ, что Франция сама очень желала бы этого, но никак не может сделать ничего подобного в настоящее время, не может даже предвидеть срока, когда можно было бы исполнить это желание итальянцев, совершенно согласное с ее собственным желанием. Тогда Раттацци, хватаясь в крайности за мысль Кошута, стал просить поддержки Франции для освобождения Венеции. Ему отвечали, что Франция очень сама желает освобождения Венеции, но не может содействовать ему. Раттацци стал говорить, что если невозможно оказать материальную помощь, то нельзя ли одобрить туринское правительство хотя нравственной поддержкою в случае войны с Австриею за Венецию. Он получил ответ, что невозможно и это, что французское правительство при нынешних обстоятельствах никак не одобрит войны за Венецию. С этим Раттацци и должен был возвратиться в Турин. Но было бы напрасно опасаться за нынешний туринский парламент. Члены министерского большинства могут, как им угодно, рассуждать о безуспешности консервативной политики Рикасоли, а произносить в парламенте речи и вотировать будут они все-таки за министерство. Потому [не следует] верить слухам, будто бы Рикасоли думает выйти в отставку по боязни, что не найдет поддержки в парламенте. Слишком много будет уже и того, если он для укрепления себя в парламенте найдет нужным дать место в своем кабинете Раттацци или другому члену средней партии. В парламенте он достаточно силен и без этих союзников. Если и произойдет подобная перемена в составе кабинета, она будет следствием ропота публики, а не колебания министерского большинства. А во всяком случае она не произведет заметного изменения в правительственной политике, потому что разница мнений между Рикасоли и Раттацци невелика. Решительных действий нельзя ожидать от этих людей, никогда не имевших инициативы, а всегда только следовавших, подобно Кавуру, за ходом событий, удерживать которые всячески старались они.

Есть много признаков, предсказывающих сильное движение в Италии, Венгрии, а потом и в других странах Западной Европы на следующую весну. Но подобные признаки существовали в прошлую осень, — однакоже весна и лето нынешнего года прошли без потрясений существующего порядка. Воспользуемся этим примером, чтобы не быть слишком уверенными в заключениях, повидимому вытекающих из нынешнего поло-

жения дел. Но все-таки надобно сказать, что признаки перемен усилились в течение года. Несмотря на вялость туринского министерства в увеличении итальянской армии и на неохоту его содействовать народному вооружению, боевая сила итальянцев увеличилась, а их нетерпение возросло. Еще больше сделано для приближения решительных попыток в Венгрии, и сделано это самим австрийским правительством. Читатель помнит, что еще во время прений пештского сейма об адресе в конце нынешней весны большинство венгерского населения уже думало о неизбежности вооруженной борьбы. С той поры австрийским правительством принято было много мер, развивших такое убеждение. Пештский сейм был распущен, просьбы о созвании нового сейма были отвергнуты, протестовавшие против распущения сейма комитатские собрания и власти сначала получали выговоры, а теперь распущены, и Венгрия вновь подчиняется управлению по той системе, какая существовала от конца венгерской до конца итальянской войны. Последним поводом к открытому введению военного управления в Венгрии было решение венского правительства произвести в Венгрии набор по правилам, существовавшим перед итальянскою войною и несогласным с законами 1848 года. Комитатским собраниям и другим венгерским властям было послано приказание содействовать производству набора и приглашение объяснить, какими средствами можно произвести его успешнее. Когда комитаты отвечали, что не могут признавать законности распоряжения о наборе, венское правительство распустило комитатские собрания, отняло власть у администраций, избранных ими, и назначило для управления Венгрией своих чиновников, называющихся администраторами или комиссарами и действующих военным порядком. Венгерские власти, конечно, протестовали против этого. Таким образом, положение дел совершенно разъяснилось. Венское министерство не хочет и не может управлять Венгрию иначе как по прежней системе, видоизменить которую напрасно думало оно дипломом 20 октября и конституциею 26 февраля. Оно само убедилось теперь, что его существование несовместно с расположением умов в Венгрии и что поэтому власть его над Венгрию должна поддерживаться исключительно военною силою.

Это убеждение начинает распространяться и в немецком населении Австрийской империи, которое, будучи само еще слишком непривычно к политической жизни, долго не могло понять, что венгры в самом деле не удовлетворяются формальными уступками, провозглашенными 20 октября и 26 февраля. Австрийские немцы полагали, что неудовольствие в Венгрии не есть всеобщее чувство, что недовольны там лишь горячие головы, которые заглушали на время своими криками мнение массы, готовой быть довольною и послушною. Но теперь, когда австрийские немцы убедились, что волнение в Венгрии было следствием всеобщего

недовольства, они начали судить о венгерских делах не совершенно одинаково с своим правительством. Если Венгрия может быть управляема при нынешней системе только военною силою (начинают думать австрийские немцы), то и немецким провинциям Австрийской империи приходится очень плохо. Доходы страны, удерживаемой в повиновении только войском, никогда не бывают достаточны для покрытия издержек, которых стоит сохранение власти над ними, — так рассчитывают австрийские немцы. Из этого они заключают, что они сами обременяются налогами для сохранения нынешнего порядка дел в Венгрии, что дефицит возрастает все по той же причине и что не будет никакого порядка в австрийских финансах, пока не устранится она. Уже в прошлом месяце мы упоминали об этой начинающейся перемене в чувствах австрийских немцев. Разумеется, не так скоро может она развиться до того, чтобы истребить вредное влияние долгой надменной привычки австрийских немцев смотреть на себя как на племя, призванное господствовать над всеми землями нынешней Австрийской империи; а еще более времени понадобится на то, чтобы возникающее направление общественного мнения получило перевес в правительствующей сфере. До той поры венское министерство успеет привести Австрию к войне с венграми.

В Северной Америке не произошло в октябре ничего решительного: в обеих армиях предводители заняты тем, чтобы увеличить боевую годность своих солдат, и походные действия все еще ограничиваются маневрами и небольшими стычками. В прошлом месяце мы уже сообщили известия, что сепаратисты отступили с позиций под Вашингтоном, занятых после булльронского сражения. Передовою линиею их попрежнему сделалась в центральной местности театра войны укрепленная позиция при Манассас-Гапе, которую занимали они до своей победы. Причиною отступления был, между прочим, недостаток тяжелых орудий для серьезного укрепления высот, на которых стояли они под Вашингтоном. Вероятно, не хотели они брать артиллерию из батарей при Манассас-Гапе, а артиллерийские партии не избыльны средствами, да и те нужны были в другом месте — на восток от Вашингтона, для возведения батарей на виргинском берегу нижней части реки Потомака. Устройством их хотели они достигнуть двух целей: отрезать Вашингтон от сообщения с морем и приготовить себе возможность вторгнуться через реку Потомак в Мериленд, главный город которого Балтимор расположен в их пользу по своим торговым связям с Югом. В Вашингтоне предполагают, что значительная часть сепаратистской армии, находившейся около Манассас-Гапа, передвинута на восток для этого вторжения.

Энергия, с какою сепаратисты набирали войско, доставила им возможность вот уже несколько месяцев удерживать в бездействии армию Севера, которая, начав организоваться четырьмя

месяцами позднее, чем южные войска, только в последнее время начала получать перевес над ними в численности на театре военных действий. Летом перевес числа был едва ли не на стороне сепаратистов. Полагают, что в августе было у них от 300 до 350 тысяч войска. Все белое население отделившихся штатов не превышает 6 миллионов человек. По пропорции к такому населению 300 000 армии равняется тому, как если бы Франция выставила 2 миллиона солдат. Из этого можно видеть, к какому громадному развитию военного могущества, в случае действительной надобности, бывают способны те страны, которые не содержат многочисленных армий во время мира. При всей воинственности своего населения Франция ни в каком случае не могла бы выставить двухмиллионного войска, потому что боевые и финансовые средства ее истощаются конскрипциею и огромными расходами на армию в мирное время. Северные штаты все продолжают вооружаться и не вывели в поле еще и половины тех сил, какие думают выставить, если война затянется. На театре военных действий имели они в конце октября до 400 000 человек; к ним шли десятки новых полков уже сформировавшихся, а несколько сот полков начинали формировать в это время. Корреспондент «Times'a», объезжавший в сентябре Новую Англию и северо-западные штаты, повсюду встречал военные приготовления в громаднейшем размере и не сомневается, что Север выставит до миллиона солдат, если будет нужно. Будущий ход войны надобно определять этим обстоятельством, а не тем отношением сил, какое было в течение лета. Юг вывел уже все силы, которыми может располагать, и затруднительно ему будет не то, чтобы увеличить их, а хотя бы содержать долгое время нынешнюю их цифру. А силы Севера только еще развиваются. Военные писатели старинной школы, не расположенные к системе милиций и волонтерства, говорят о том, что вот уже несколько месяцев прошло со времени начала военных действий в Соединенных Штатах, а ни та, ни другая армия еще не готова к большим решительным битвам. Они говорят, что в этой медленности сборов видна невозможность выдержать натиск регулярного войска государству, которое полагалось бы исключительно на милицию и на народное ополчение. Но тут забывается одно обстоятельство: южные штаты начали думать о войне только с ноября прошлого года, а северные штаты — только с апреля нынешнего года. Как бы ни было хорошо регулярное войско, государству также нужно очень долгое время, чтобы приготовить его к бою. Например, в прошлую итальянскую войну французы начали сражаться не раньше июня, хотя стали готовиться к войне с предшествовавшего сентября, если не раньше. Тот срок, какой нужен для перевода регулярного войска с мирного положения в готовность к большим сражениям, достаточен, чтобы приготовить к тому же и милицию.

Трудно сказать, что теперь делается в южных штатах, потому что почти все сношения с ними прекращены блокадою их берегов и затруднением пропусков через сухопутную границу. Мы еще не имеем верных сведений даже о том, каков был урожай хлеба в южных штатах, в обыкновенные годы получавших значительную часть своего продовольствия с Севера. Но известно уже, что сбор хлопчатой бумаги был в нынешнем году гораздо меньше прошлогоднего. Это произошло оттого, что при невозможности получить хлеб с Севера надобно было обратить много рук от возделывания хлопчатой бумаги на хлебопашество. Читатель знает также, что Англия, не надеясь получить хлопчатой бумаги из Америки, позаботилась об увеличении хлопчатобумажных плантаций в Ост-Индии, бумагою которой до сих пор пренебрегала. Уже в нынешнем году привезено будет в Ливерпуль из Индии слишком в два раза больше тюков, чем в прежние годы. Англичане рассчитывают, что если блокада в южных портах продолжится, то в следующем году могут получить они из Индии большую половину потребляемого ими количества хлопчатой бумаги. Таким образом, главное экономическое основание невольничества в южных штатах, возделывание хлопчатой бумаги, подрывается войною с двух сторон. Южные землевладельцы принуждены уменьшать свои хлопчатобумажные плантации для расширения хлебных полей, а на английском рынке, для которого производилась большая часть американской бумаги, является сильное соперничество Ост-Индии. Каков бы ни был ход войны, невольничество в южных штатах уже потрясено ею. Его упадок можно измерять цифрами. Цена невольника в южных штатах упала, средним числом, наполовину против того, какова была осенью прошлого года.